

ХОРХЕ КАРРЕРА АНДРАДЕ

Земное жилище

*С испанского **

Автобиография, предназначенная для птиц

Я родился в тот век, когда преставилась роза
и мотор уже в бегство обратил серафимов.
Последний дилижанс уехал из Кито,
и бежали в стройном порядке деревья мимо,
а с ними — дома и ограды новых предместий,
границащих с полем, с опушкой лесов,
где медлительные коровы жевали в молчанье,
и ветер пришпоривал легких своих рысаков.

Моя мать, одетая в плащ заката,
хранила в глубокой гитаре и юность и память
и только порой вечерами показывала их детям,
окутанная музыкой, светом, словами.
Я любил науку дождя,
желтых яблочных мушек
и жаб, постукивавших два-три раза
своей толстой деревянной погремушкой.

Без конца маневрировал большой парус воздуха.
Береговой линией неба была кордильера.
Приходила гроза, и под бой барабана
ее влажные полки шли в атаку карьером;
но солнце потом со своими золотыми дозорами
восстанавливало мир судьей-землемером.
Я видел, как ячмень окружает людей,
как странные всадники в небе тонут
и как к берегу, пахнущему манго, приходят
полные мычащими волами вагоны.

Вдали была долина, а в долине — асьенды,
где заря обзавелась столькими петухами,
а на западе — земля, где сахарный тростник
колыхал свое мирное знамя,
где какао в футляре хранило свое тайное достоянье
и одевался ананас пахучей броней,
а голый банан — шелковым одеяньем.

* ХОРХЕ КАРРЕРА АНДРАДЕ — Земное жилище (*Стихи. Перевод с испанского О. Савича, С. Гончаренко*) // Каррера Андраде Х. *Инвентарь мира* (М.: Художественная литература, 1977), 157–244.

Некоммерческое электронное издание. «Im Werden Verlag», 2009.
<http://imwerden.de>

Все уже прошло, как волнение на море,
как пены эмблема пустая.
Годы идут неспешно, опутывая сердце,
а воспоминанье — только лилия водяная.
Как лицо утопленника, оно выплывает,
когда волны одна за другой идут, отбегая.
Гитара — это только могила песен,
а раненный в голову петух жалуется на скалах.
Эмигрировали все земные ангелы и серафимы,
даже смуглый ангел какао.

Повседневная дружба

Окна, двери и слуховые окошки —
друзья, соучастники моих ежедневных побегов
из четырех стен, посланцы прозрачного мира,
бродящего солнечным зайчиком у меня по столу.

Окно — приглашение к дальнему плаванью;
окно — это река света, впадающая в небо.
Сколько несбывшихся грез
утонуло в ее прозрачной стремнине!

Дверь отдает мне честь, как часовой офицеру,
и выпускает в мир, щелкнув каблуками засовов.
Только рассвет и ветер
знают еще наш пароль.

И через слуховое окно по канату луча
можно забраться на край небоската.
В этот колодец заглядывают иногда
путники-тучи, а чаще — домашние голуби.

Призвание зеркала

Когда забывают вещи и цвет свой, и форму,
и отступают преследуемые ночью стены,
и все становится на колени, смешивается или оседает,
только ты на посту, образ, сияющий неизменно.

Теням ты навязываешь свою ясную волю.
В темноте сверкает твое хрустальное молчанье.
Как внезапных почтовых голубок,
ты вещам направляешь свои тайные посланья.

Каждый стул удлиняется ночью и ждет
ирреального гостя к призрачному чаю;
и только ты, свидетель прозрачный,
света урок наизусть повторяешь.

Привычка

Я еду по железной дороге времени
в компании старых кастрюль,
протертых стульев
и странно знакомых лиц,
которые проживают в номерах моей памяти.

Самые разнообразные и невероятные предметы
то и дело напоминают мне о себе:
монеты, авторучки, гнутые ложки и так далее, —
вплоть до чудака домового,
утонувшего в плаче дверных петель.

А также замочные скважины,
караулящие у каждой двери,
и кнопки звонков, чуткие, как обнаженная кожа,
и выключатели,
которые так послушно и ловко
прячут ночь, высекая дневной огонь.

Так я и еду без остановок
по неизведанному маршруту
в неподвижном вагоне квартиры,
где кастрюли перемигиваются с зеркалом,
с этим летописцем домашнего быта.

Гордость газированной воды

В головокруженье прозрачного золота
пленница-ясность вертится и поднимается,
или дымка из пыли, раненной светом,
как Млечный Путь, живет и растворяется.

И эти миры, крутящиеся сияющим роем,
рождающимся и распадающимся непрерывно,
среди бега солнца, — они торопят и подгоняют
уверенностью в том, что смерть неизбывна.

Рвется ли платье из шелка, иль это вздыхает
море, а может быть — ветер и его голуби?
Родившись в оттепель от таянья зеркала,
струится прозрачность водопадом веселым.

Вспыхивают мириады свежих пузырьков
в космическом теченье, шипя, как в песке волна морская.
В газированной воде королевский павлин
свой хвост с глазками, чуть гремя, распускает.

Фруктовая диета

Апельсин — это розовощекий рассвет,
это стакан прозрачного полдня.
Груша свою водянистую рану
памятью дикого меда полнит.
А персик — персик, с ветки срываясь,
падает в руки, как рыжая радость.

Яблоко хрустит на зубах, умирая
в пору тумана и листопада.
Капают с кисти стеклянные слезы
зеленоглазого винограда.
Льют колокольцы желтые трели
в листьях задумавшейся мирабели.

Солнце, кипящее в колбах плодов,
ветер, налитый в стаканы деревьев,
почва и влага в форме стволов
сада, белеющего за деревней, —
все это входит в меня, растворяя
кровь мою в соке зеленого края.

И пробегает в незримой реке
новые волны озноба и жара
по территории нервов и мышц,
в руслах артерий и капилляров,
преобразуя в этом движенье
цвет апельсина в свет озаренья.

Потаенная биография сына

Микроскопический сгусток живого,
крошечней птицы, меньше, чем колос...
Но, как руда, замерцавшая в недрах,
в чреве уже прорастает твой голос.

В темном потоке медленной крови
зреет и ширится капелька-кокон,
где совершается приготовленье
жизненной пряжи из нервных волокон.

Слипшихся век не умея расклеить,
ты тяготишься предчувствием света,
на волоске пуповины повисший
зашевелившейся в полночь планетой.

Тычешься в мать изнутри, несмышлениш,
тело ее населивший собою,
выходец из пустоты небытийной,
но наделенный отныне судьбою.

Круговорот

На трафаретной ветке сидя,
поет стандартная пичуга,
и лица лет стереотипных
неотличимы друг от друга.

В который раз увидит солнце
картину скомканной постели,
и стол у тусклого оконца

с одной строкой стихотворенья,
и непроснувшихся объятий
обряд поспешный повторенья.

Все повторится: листья, птицы,
и закатившееся солнце
вернется в срок из-за границы.

Любой поступок человеческий
размножен в зеркалах столетий
и потому увековечен.

И море, обнажив скелеты
истлевших рыб на лунном пляже,
опять сомкнется в час рассвета

над чернотой песков тоскливых...
А та пичуга — не она ли
недавно пела в древних Фивах?

Гость

Лето провозгласило свою диктатуру,
учредив сенокос на поляне опальной,
и пришел ко мне в гости взволнованный ветер
и доставил из сельвы послание пальмы.

И горячий настой ананаса и кофе
побежал по артериям, напоминая
о земле, где струятся студеные змеи
и плодами на ветках висят попугаи.

Где кокосы, качая нечесаной гривой,
раскачали упругий гамак аромата,
и плывет над зыбучими кронами небо,
словно барка, гружённая снами и ватой.

Жизненная алхимия

Во мне живет старик и смерть мою готовит:
дохнет — и превратились годы в пепел синий,
во фруктах сахар разложился,
и в органический мой лабиринт влетает иней.

Иголками, и ветром, и бесцветным веществом он управляет, —
тот гость, во мне устроивший засаду.
Порой, когда я сплю, то слышно, как по капле льется
в его кувшин какой-то эликсир ему в отраду.

Своею желтой химией он выкрасил мне кожу,
умерил он тепло моей руки,
и не мое лицо я вижу в зеркалах, —
его лицо: морщины и круги.

Он в самой глубине свой заговор плетет,
там, где мое нутро дрожит, как загнанные звери;
и, меж веществ зеленых и реторт со льдом
готовя смерть мою, он гонит годы в двери.

Собственность

Окно — вся собственность моя: оно
быть хочет небом с полем пополам
и на своей границе хрупкой с миром
присутствие предметов отмечает.
И вот кольчугой дерево одето,
дорога света превратилась в шпагу,
и зерна в шлемах на току воюют
за жизнь свою, и без оружия птицам
напоминает пугало о том,
что с мертвецом оно в прямом родстве.

Недвижные, но юные колосья
готовы на пари бежать за ветром.
Сорвавшись с места, пыльная спираль,
как каторжным, деревьям вяжет руки
(сообщничество трели и плода),
и вот уж в звучном беспокойстве тонет
засеянных полей рисунок детский.
Все — лишь таинственная страсть в движенье,
страсть, чтобы жить: на пастбище коровы
и травы — дети в школе у дождя.

Окно что пристань неба. На его
воздушных неизменных плоскостях
все птицы — рыбы или отраженья,
листва — осыпавшееся тщеславье,
груженные посевом облака
идут, чтоб бросить на землю швартовы,
а реки и растенья — остановки
на их космическом круговращенье.

Иностранец

Непроницаемо и молчаливо
пространство льда лежит вокруг без края,
и гаснут там пылающие знаки,
и смысл земные языки теряют.

Растений и селений протяженность, —
одушевляет их лишь вездесущность ветра, —
широты, сокращаемые ночью,
забытые на карте сна меридианы, недра...

Нет дружеского жеста птицы, или тучи,
или обычной черепичной крыши густобровой.
Немой монах зеленый в каждом дереве живет,
и небо без зрачков глядит на мир суровый.

Среди меняющихся лиц, растущих зданий
ищу в общенье с кем-нибудь спасенья,
но горечь косточки скрывает этот плод,
он остается у меня в руках лишь в форме тени.

Ты, одиночество потерянное, найденное вновь,
власть безграничную свою вручаешь птицам;
невидимую силой охраняем,
в твои интимные края могу я просочиться.

Забыв о компасе и о земных наречьях
и небом подгоняемый с рассвета,
вброд одиночество переходя, как реку,
пересекаю я немую географию планеты.

Путешествие

Единодушно и сине моря восстанье:
водные толпы его, соли собранья.

Обвал за обвалом с разорвавшейся спайкой
и молчанье внезапное, оборачивающееся чайкой.

Море, с волненьем твоим я смешиваюсь в самом деле
и с небом, что качается на твоих огромных качелях.

От грома к сиянью как быстры твои перемены!
На подносах своих предлагаешь ты цапель из пены.

Словно мошки, в тебе миллионами искры светят,
их свеченье — как будто течение песков, иль светил, иль столетий.

Мое тело вступает в поток твоей вечной работы,
о, носильщик, что соль кладет в прозрачные соты,

о, погонщик диких кобыл, которые мчатся
до самого горизонта, чтоб до пастбищ добраться,

светлый подмастерье, снимающий мерку с островов,
синий каменотес заливов, бухт, берегов,

бесконечный пленник среди скал, дюн, побережий,
вечные цепи пены рвешь ты и режешь!

Эта прекрасная размеренная жизнь

На кухне принимают утренний душ тарелки,
рог фонаря таранит брюхо тумана,
в корзинах серебрится рыба, и полицейский
посинел от рассветного холода, — значит,
самое время оставить последний рубеж сна.

И вот я вхожу в день, дабы изменить порядок вещей,
осуществляя свое невнятное предназначенье.
Между тем воробьи затеяли заговор,
на который деревья смотрят сквозь пальцы,
и всадники дыма скачут над печными трубами.

Каждое блюдо — это немножечко и время года,
каждый шаг — это начало дороги,
в каждой ладони — зачатие или кончина вещей.
Встают один за другим часы
со штыками курантов наперевес,
и под эскортом ночей плетутся плененные дни.

Земное жилище

Живу я в карточном домике,
в строенье песчаном, в воздушном замке
и провожу время, ожидая
обвала стены, явленья луча,
почты небесной с финальным известьем,
приговора, который принесет в себе оса,
приказа, который, как бич кровавый,
развевает по ветру ангелов пепел.

Тогда потерю свое земное жилище
и окажусь сызнова голым.
Рыбы, светила
поднимутся по теченью своих небес опрокинутых,
но все, что цвет, птица или имя,
станет снова только горстью ночи,
и на останки чисел и перьев,
на тело любви, созданное из плода и музыки,
опустится в конце концов, как мечта или тень,
беспамятный прах.

Безымянный остров

Просмоленная лодка,
опочив на боку,
про соленую тину
что-то шепчет песку.

Да и сосны бормочут
то же, что и вчера.
Испытующе смотрит
из-под кроны кора.

Только что ей увидеть,
кроме тощих ворон
над костями погребенных
в красноземе времен?

Точит жаркую гальку
камнеед-солнцек.
День за днем утекает
в раскаленный песок.

Над камнями развалин,
что в сосновом бору,
проливается ливень,
расплодив мошкару.

Отражаясь в заливе,
как в оконной слюде,
бродят тени-дикарки
по колено в воде.

И покуда на берег
не пригонит тайфун
миллионокопытный
разъяренный табун,

этот вымерший остров,
словно город на дне,
стекленеет в упруго-
голубой тишине.

Безымянные тени
чертят древнюю пыль,
будто в память вливает
позабытая быль.

Северо-восточный ветер

Растревожив деревья,
рыб, паруса и палатки,
Север и Восток при поддержке своих водяных бригад
приводят в действие план земных беспорядков:

и вторгаются всюду обезумевшие табуны ветра,
табуны ветра с криком единокдушным, осенним,
волки и безутешные матери,
и обрушиваются стены ветра от постоянного землетрясения;

невнятная дробь его бродячего барабана,
его море — призрак, быстрый пожиратель леса и пашни.
Все толпы ветра, соединившись,
размахивают в волнение своим знаменем страшным.

Гнев сквозь мили летит, одиночество стало ветром,
несущимся отчаянием все пространство изрыто.
О, огромный космический конь,
топчущий века невидимым копытом!

Ветер, пахнущий трупом, рыбой, маком,
ты качаешь свой груз землетрясений и эпидемий.
Старый пастух пространства, твой ледяной кнут,
свистя, возвещает: смерти приходит время!

Беги без конца, земной метеор-бродяга,
по полям и по городам, а выход везде завален.
Твое безмерное усилие
разламывает и обрушивает, — о, архитектор развалин!

Одиночество и чайка

Моря белый блокнот —
чайка, весть или птица,
разворачивает полет
на две путевых страницы.

Чайки сестра морская —
одиночество без границ,
чего-то еще ожидая,
вздыхает и смотрит на птиц.

Насекомые и растенья
изрыли всюду пески:
сигнальные искаженья
подземной страстной тоски.

Здесь, в центре всего, как ленник,
живу среди птиц морских,
сам свой собственный пленник,
товарищ развалин немых.

И вижу и слышу невольно,
как дождь в доспехах идет
и по одиночеству больно
жидкою шпагой бьет.

Прах — труп времени

Ты дух самой земли, неосязаемый прах.
И вездесущ, и невесом, скача по воздуху на всех парах,
морские и земные расстоянья покрываешь без границ
и тащишь груз личинок, стертых лиц.

О, хитроумный визитер любого дома!
Шкафы, что заперты на ключ, с тобой знакомы.
Останки без числа иль труп времен,
как пес, набрасываешься на жизнь, на сон.

Скупец всемирный, золото ненужное и легкое свое
наваливаешь в дыры, и в подвалы, и в жилье.
Бесцельно все следы и формы собирая,
у листьев отпечатки пальцев ты снимаешь.

На мебели, на запертых дверях, в углах,
на шляпах, на роялях, на посуде, на полях,
как тень иль смертную волну, теряя память,
свое победное зелено-желтое развертываешь знамя.

Ты на земле разбил свой лагерь, как хозяин,
для бледных легионов всей империи разбросанной твоей.
Грызун, ты бесконечными зубами пожираешь
не только цвет, само присутствие вещей.

И замолкает даже свет, любой его накал
под сереньким плащом твоим, портной зеркал.
Последний и прямой наследник всех вещей покойных, всех великолепий,
ты все хранишь в своем бродячем склепе.

Ничто не наше навеки

Каждый день я вижу одно и то же дерево
в кругу зеленых домочадцев.
Каждый вечер в люльке маятника
качается младенец-время.

Река неторопливо сдает прозрачные карты.
Тишина впадает в грохот.
Нежными пальцами семечко
разрывает на себе пеленки.

Никто не знает, почему существуют на свете птицы,
винная бочка полной луны,
мотылек, обрекающий себя на самосожженье,
и женщина, счастливо улыбающаяся за решеткой арфы.

Но надо одеваться в дождь,
в незримые и добродушные вещи
и бриться осколками радуги
и ласточкиным крылом.

И мыть скудное золото дня,
считая его по крупинке,
когда раненый закат сжигает за собой мосты
и надвигается ночь-амазонка во главе черных племен.

И тогда берешь слово ты, Небо:
вспыхивает огнями твой горный город,
по которому, глядя на нас в тишине,
бродят толпы с пылающими факелами.

И зыблются все преходящие формы:
юноша, распростертый статуей в постели,
женщина, чья грудь — словно два птичьих сердца,
заговорщица-смерть, прикинувшаяся скорпионом.

Смерть одевает землю
черной своей скорлупой,
в которой копошится
чудовищный паук.

Мертвые — это монахи
из Ордена Подземных Схимников.
Что значит умереть — потерять ли все на свете
или обрести свою древнюю родину?

Пресыщенный годами и женщинами,
ты съезжился под богом, вонзившим тебе в бока шпоры,
и только память о земных вещах
уже бесполезным теплом греет твои ладони.

Населенное одиночество

Одиночеству неба с мельтешением крыльев,
одиночеству моря с плавниковою гущей
продолжением служит одиночество наше —
одиночество суши, населенное сущим.

Никогда не забудет старый короб гитары
то, что чувствует даже несмышленная поросль:
не листва вообще умирает, а листья,
и не сад, а деревья осыпаются — порознь.

Потому-то морозом подирает по коже
этот ветер вечерней пустыни, сквозящий
в полумраке пещеры и в зашторенной спальне —
ветер, статуям в парке волоса шевелящий.

Он врасплох настигает колокольным ударом
или щебетом птицы на щемящем рассвете,
и мы мечемся тщетно в заколдованном круге,
натываясь повсюду на прозрачные сети.

Одиночество! Каждый твой узник и пленник
неизбежно другими будет узан и признан —
все мы носим на лицах одиночества мету,
все мы граждане этой необъятной отчизны.

Октябрь

Октябрь — это яблоко года. Сад
рухнул в гробы телег.
Промотан нивой до колоска
ее золотой век.

Октябрь — это птица голубизны,
севшая на плетень,
которую нам подают на стол
тридцать один день.

Всему земному подбит итог,
все уравнено в правах:
ломкие листья — битый хрусталь;
мука — это белый прах.

Затоптан костер плодов и листвы,
звонит под ногой земля.
Лишь изредка вспыхивает на зубах
искорка миндаля.

Степенный октябрь в крахмальной заре,
в мантии мглы ночной.
Сумерки года заволокли
ветренный зной.

Девять долгих месяцев он провел,
зрея в утробе небес,
чтоб принести в упадочный мир
точный размер и вес.

Призрак в гостях

В потаенной могиле растаявших лет
похоронен я юношей двадцатилетним.
Под опавшей листвой схоронил я себя
в окруженье вещественном и амулетном.

Амулетом любви было яблоко мне.
Солнце, птица, роса — это все амулеты
незапамятных лет, когда не было зим,
а стояло одно бесконечное лето.

И, себя хороня, в изголовье себе
положил я родную гитару былого, —
я, иного не помнивший цвета небес,
кроме синего и голубого.

А вокруг мертвеца усадил я друзей —
имена и теперь позабытые лица,
и оставил его на счастливую смерть
среди ливней, цветов, лошадей и маиса.

Что же вдруг над тобой шевелится земля?
Или плохо ты, юноша, был похоронен?
Не твоя ли рука у меня на груди
гладит дагерротип на моем медальоне?

Странный призрак, пришедший из дальней страны
старых дат, фотографий и долгих раздумий,
ты все чаще сидишь у меня за столом
в старомодном, изъеденном молью костюме.

Наважденье, являющееся ко мне
по веленью невнятной, но явственной силы...
Только роза и лошадь хранят уговор,
не тревожа твоей стародавней могилы.

Опись всего моего достояния

Туча, в которой трепещет растительное будущее,
белые листы голубятни, которые разбрасывает голубятня,
солнце, покрывающее мою кожу золотыми муравьями,
олеография тыквы, расписанная неграми,
хищники в лесах, не исследованных ветром,
устрицы с их языками, прикрепленными к небу,
самолет, с которого падают в небе грибы,
насекомые, как маленькие летающие гитары,
женщина, вдруг одетая молнией, как освещенный пейзаж,
личная жизнь зеленого лангуста,
лягушка — барабан и кувшинчик желудка,
деревушка, связанная по рукам небрежными бечевками дождя,
затерянный птичий патруль, —
это белые юнги гребут в небе, —
моль-портниха, которая шьет себе платье,
окно — моя главная собственность,
кусты, раздувающиеся, словно куры,
призматическое наслаждение воздухом,
холод, входящий в жилище в мокром своем пальто,
морская волна, вздувающаяся и опадающая, как каприз стеклодува,
и этот беспредельный маис созвездий,
петухи зари его склевывают до последнего зернышка.

Гимн летающим крепостям

От рева моторов качаются тучи.
Кажется, будто рушится небо.
Это вгрызаются в край горизонта
горизонтально летящие башни,
башни заоблачной цитадели;
это летят развернувшие крылья
громоподобные молниеносцы,
взявшие курс на долину огня и руин.

Это плывут галионы, которыми правят
бесчисленные сыновья громовержца.
Это стальные драконы из черных космических джунглей:
у них железное сердце,
крылатое тело
и человечесьи глаза.
Их винты начиняют пространство
жужжаньем осинового роя.
Их пророческий голос опять заставляет людей
трепетать перед небом,
забираться в сырые подвалы
и каменеть от испуга,
подпирая глазами
дрожащие своды.

Летающие крепости над угнетенной Европой!
Их тени пасутся уже на немецких полях!
Напрасно заря
маскирует фабричные трубы.
Ничто их теперь не спасет от карающей молнии!
Гнев божий
грядет на крыльях летучей Армады.

Нюрнберг,ними
средневековые шляпы своей черепицы!
Мюнхен, ты захлебнешься пивом забвенья!
Вена, Франкфурт и Штутгарт — чуеете дыхание смерти?
Гамбург! Пока уцелели причалы,
спасай свою шкуру на целых еще кораблях!

Берлин, зарывайся заживо в землю!
Повсюду разносится твой перепуганный визг.
А впрочем, тебе все равно не найти спасительной щели:
какое убежище спрячет твоё преступленье?
Дрожат железные всадники
старых твоих куполов.
Уже пылает Нейкёльн. И кони
на Бранденбургских воротах заржали от страха.
Обрушились наземь берлинские фабрики смерти.
Руины твои проклинаят тебя,
крича кирпичными ртами.

И сыплются гроздьями с неба
железные зерна, давая кровавые всходы,
взрываются адские тыквы,
погребая квартал за кварталом.
Эту бомбу, Берлин, получай за Мадрид,
за убитых испанских детей!
Эта бомба тебе за слезы поруганной Франции!
А эти тяжелые бомбы ты заслужил за Россию,
за трупы ее сыновей, которые стыннут
в русских полях, превращаясь в колосья пшеницы.

За всех разорванных в клочья,
погребенных под пеплом и спящих на дне англичан,
за узников, пожранных крысами в мокрых подвалах,
за звонницы виселиц с жуткими колоколами,
которых пугается даже стервятник,
за детские руки, протянутые из-под земли!

Трепещи же, Берлин! На колени! А лучше
сам, своими руками достань убийц из убежищ,
привяжи их к разрушенным стенам:
да свершат справедливую казнь самолеты
при распаханном небе,
в котором уже занялось
заревое пламени, словно зарница рассвета.

*

Скоро они прилетят, крылатые башни,
на горячие рифы и пальмовые острова,
где забрызгано кровью алое тело кораллов,
где гудит Океан во власти кошмарного сна
и к ногам обезглавленных трупов
проливаются ливни плодов.

Они прилетят, чтобы мир воцарился над этим
мертвым солдатом, зарывшимся в мокрые листья,
и над тем моряком, чье тело щупают крабы —
осторожно и ласково, как материнские руки.

Горизонтальные башни вгрызаются в край горизонта,
рассекая свинцовые тучи.
Сто наций их провожают восторженным взглядом.
Незримое сердце земли
благословило на подвиг эти машины.
Их моторы несут в себе укрощенную бурю,
прозрачные диски пропеллеров дышат свободой,
а в железных бочках под крыльями законсервирован гром.

Зычным голосом Нового Света
поют над землей их моторы
гимны свободных народов,
и материнские слезы
блещут на их металлической коже —
слезы давно позабытой радости и
восторга, с которым встречает земля
колесницы святого возмездия,
сработанные человеческими руками
и поднятые в поднебесье
земными героями, сеятелями рассвета.

Моя родина

Я пришел с той земли, где парчовый кошель
чиримойи, как мех для вина, не позволит,
чтобы снежная сладость истекла, как капель;

где одетый в зеленый наряд агвиат
вырабатывает, как затворник в овале,
свой экстракт из лиан, из цветов — аромат.

В той стране обучаются птицы наречьям,
а растенья, как сварись, любовь или силу,
словно в сказке, дают, убивают иль лечат.

Там ленивы, нежны привереды-зверьки,
насекомые — словно цветущее пенье,
словно света летающие лепестки.

Капули́, то — черешня индейская робкая;
броненосец и перепел; листья мясистые,
что идут на одежду, на сети, на топливо;

эвкалипт — словно рыбы на ветке нанизаны,
воздух — поле сраженья, оружие — листья,
он — здоровья солдат, под ружье солнцем призванный,

человека союзники все; без заботы
прихожу я оттуда с уроками ветра,
и, свободный, несу я вам птиц-полиглотов.

Преступление и смерть ветра

Пожалуй, сегодня силы
попробую в некрологе:
я видел, как умер ветер,
разбойник с большой дороги.

Сначала он тихо крался
околицею деревни
с полной охапкой листьев,
похищенных у деревьев.

Но, схваченный стражей грома,
он сел за решетку ливня,
и все же ушел на волю,
и стал еще агрессивней.

Карабкался он на кровли,
явив чудеса отваги,
и ловко залазил в окна,
и крал со столов бумаги.

Подмигивая задорно
стоявшей на стреме тумбе,
нахально он рвал тюльпаны
на муниципальной клумбе.

И кончил, конечно, плохо:
я видел, как на рассвете
в петле бельевой веревки
повис бездыханный ветер.

Жажда статуи

Статуя, мокрая глина,
спелой пшеницы колос,
горло твое — лавиной
бьющий в литавры голос.

Тело твое — свобода
горлицы и газели,
краешек небосвода
в узкой, как волос, щели.

Кожа твоя — пустыня
и устье потока, ибо
ты — и пожар апельсина,
и ледяная рыба.

Островное

Я поехал бы на Молукки,
чтоб попробовать вкус муската,
на Молукки, где фрукты млеют
от гвоздичного аромата.

Я хотел бы причалить возле
островов Зеленого Мыса,
чтоб рукой какаду потрогать,
ключевой тишиной умыться.

Чтобы спать на земле, под пальмой,
и бродить по косе песчаной,
и вдыхать разморенный воздух,
от изысканных специй пряный.

На Фернандо-По поселиться
или где-нибудь на Галапагос,
где в душистой тени гуайявы
и в июле жара не в тягость.

Коротать бы ночь на Ямайке
или, может быть, на Гавайях,
под гитарные переборы
умирая и оживая.

Или по островам Канарским
путешествовать на верблюде,
наблюдая, как виноградник
созревает на летнем блюде.

Доживать бы век на атолле
позатерянной и поглуше,
правля дикими племенами
голубых цветов и ракушек.

И, продав свою душу солнцу,
обучившись повадкам птичьим,
обитать в непролазной чаще
полулешим, полулесничим.

Движение природы

Древесная кора прислушивается
к царапанию растений и насекомых.
Ветер тихо пасется на полях меж полосами.
Пруд напоминает, что существует родство
между самыми маленькими тучами и гусями.

В тенистых подвалах своих стерегут деревья
разбежавшихся грибов ученические береты.
Ночь так ловко плутует с пейзажем.
Звездный пахарь разбрасывает семена мерцающего света.

Небесное снабжение

Рыбная лавка дождя:
мутны глаза, из серебра чешуя.

Птицеферма дождя:
водяные птицы летят.

Фруктовая лавка дождя:
жидкие апельсины,
стеклянный виноград и слез
белая малина.

Земля, свет и вода,
все в конспекте дождя.

*

Баклажан
блеск свой украл в церкви у витража.
В коже своей из слез и винограда
хранит он весь фиолетовый свет заката.

*

Сливы — это глаза
призрачных каких-то коров,
глядящих из-за стволов.

Сияя, вспухли, как пули,
которых на сладкой кожуре
кровь и сахар раздули.

Сливы, фланируя,
как влажные взгляды,
землю копируют.

Ночь или ложь

Золота в небосводе
прозябанье немое,
ты купол, о котором
мечтает дерево сухое;

листва опавшего света,
а в ней птиц привиденья;
как музыки, ищут губы
твоего прикосновенья;

слишком большая тайна,
она длится, пока спросонок
заря не крикнет, назвав
зеленое зеленым,

и космическое ночное
убранство не снимет,
а день свое знамя
синее не поднимет.

Времена года

Голые деревья, в которых сквозит небо, —
это просто ульи с пустыми сотами.
Но постепенно золотой слиток солнца
раскаляется добела,
а после полудня на землю
начинает сочиться жидкий покой — дождь.

И приходит к деревьям портниха с зеленым сукном.
Река начинает шептаться в кулуарах излучин,
а в результате устанавливается мода на виноград.
Потом земля покрывается слоем желтых перчаток,
и зайчишка страха то и дело шевелит кусты.
Наконец воде приходят на ум ледяные мысли,
и беззвучный воск снегопада
помогает пейзажу умереть без мучений.

Нечетные дни

Есть дни, что приходят так рано, так рано,
с глазами воловьими, с лбом затуманенным дни;
не помнят они, как зовутся,
быть может, ошиблись неделей они.

В те дни мы ни улиц, ни дат не находим,
нас свет своего руководства лишает,
и мы забываем о розах, о числах,
и окна в глаза нам суровые штампы бросают.

Куда-то деваем к сокровищу ключ,
любовный пароль, превращенный в кольцо,
сражаемся с письмами, с памятью
и путаем тень и одежду, плакат и лицо.

Есть дни что песок, и от них погибают часы,
в те дни мы куда-то уходим, как в пепел кладбища,
в те дни отвергают нас стены квартиры,
но дверь, чтобы выйти, напрасно мы ищем.

Дань ночи

Упрямица, ты отрицаешь все, что день утверждал,
и после его смерти завладеваешь вещами без шума.
Твои мешки с углем непрерывно грузятся
в мировые трюмы.

В мире нет конца твоему огромному телу,
туманное животное, вскормленное гитарой.
Ты убиваешь время в твоей земной тюрьме,
заштриховывая дороги, сжирая светильники с жаром.

Небожительница, тыходишь повсюду
и устраиваешься молча меж нами
или глядишь на нас из-за окон
своими вечными, нежными, далекими глазами.

Пунктуальный путник, отдохновенье колоколов,
в свой мешок ты укладываешь все живое, все вещи, все знаки.
Я в тебе поселяюсь и склоняюсь
на подушку твою из мрака.

Бесконечное странствие

Все сущее так или иначе
движется к своему божеству.
Корень пешком спускается вниз
по ступенькам, прорубленным влагой.
Осенние листья со вздохом седлают ветер,
а птицам затем-то и нужны крылья,
чтобы в конце концов добраться
до сфер Вечного Света.

Неторопливая руда
претерпевает метаморфозы вечного круговорота,
начинающегося прахом и кончающегося звездой,
которая снова становится прахом,
вспоминая все свои пережитые,
а может, всего лишь увиденные во сне
смерти и жизни.

Рыба говорит со своим божеством
трелью воздушных пузырьков,
голосом падшего ангела,
ощипанного догола.
И только человек наделен словом,
дабы мог он обрести свет
или отправиться в глухую страну Никуда.

Три строфы, посвященные пыли

Золою оседая, смывая силуэты,
сестра волны прибойной и предзакатной тени,
ты, в безымянный саван запеленав предметы,
даруешь им, безликим, возврат к происхождению.

Ты посыпаешь пеплом повешенное платье,
витая над комодом и над камином вея,
где, судорожно вздрогнув, замрет на циферблате
игла минутной стрелки под тяжестью твоею.

Ты, пятая колонна останков и развалин,
с живых снимая маски, на завтра жертвы метя,
не пощадишь в набеге ни площадей, ни спален,
союзница до гроба забвению и смерти.

Здесь покоится пена

Как сестра милосердия, спускается пена,
чья босая ступня — это ландыш с луной,
на песок по отвесу лазурного крена.

И, курчавясь на берегу белым руном,
усыпает его слюдяными цветами,
и скалу пеленает стерильным бинтом.

Где берет она столько крылатого снега,
столько перьев архангела,
если не с неба?

Где берет она, как не у пекарей неба,
столько белых буханок
пушистого хлеба?

Расстилается скатерть вселенского пира,
и забвенье со сном разливает волна
по шипучим ковшам на столе из сапфира.

Только смертью пропах этот пенный белок —
и не пена ли белыми трупами чаек
устилает под утро прибрежный песок?

Набегают на рифы расплавленный мрамор,
и встает на мгновенье, чтоб рухнуть во мглу,
ослепительный контур воздушного храма.

Это жидкое облако вдруг налетело,
напоролось с разлета на острый утес,
распылив до прозрачности белое тело.

Это пена в своей колеснице из соли
объезжает плантации
снежных магнолий.

Вырастает узор кристаллических друз
неземной и немислимой архитектурой
на цементе из спрутов и скользких медуз.

Голубиная стая на кромке обрыва!
Ты ведешь в наступление белую рать
на гранитную крепость — на берег залива.

И, разбившись о скалы, несется опять
белогривая конница в пене и мыле,
чтобы снова на мокрых камнях умирать.

Чтобы лег на закате,
как память о пене,
белопенный венок на морские ступени.

Хуан Безнебесный

Зовусь Хуан, Хуан любой. Я житель
земли, вернее, пленник я с пеленок,
тень в платье, прах бродячий, прародитель,
я тот же, что и все, — Хуан Ягненок.

Моя рука любую вещь освоит —
толкать ли колесо, тушить пожары;
она мне служит, чтоб цветок построить
и повернуть ключи земного шара.

Я распахнул удел свой в чистом небе,
где проходили облака любые, —
он приносил полет, и мирный жребий,
и брызги неба — росы голубые.

Мое именье — без межей пространство —
голубизну повсюду отражало;
сияло мне маиса постоянство,
мне стадо облаков принадлежало.

Моими пекарями были птицы,
а день был житницей с открытым входом,
где радость, расцветая, колосится,
где Запад созревает огородом.

И вот пришли торговцы зеркалами,
охотники на ангелов с винтовкой
и выменяли облачное пламя
мое на бусы, дым и голодовку.

Убийцы лебедей и свинопасы,
чеканщики фальшивых слов уныло
раскрасили звездные мои запасы,
и, как морозом, сор луной схватило.

Я потерял свой хутор синий, милый,
и высь, и новь, и свет, что сам посеял;
мои небесные поля — могилы,
в пустом пространстве ветер их развеял.

План золота зари уж мне неведом,
зовусь Хуан Лишенный Даже Клетки,
и не роса, червяк мне стал соседом, —
я потерял сокровище столетий!

Лишь синий груз, как раньше, давит плечи,
теперь он — купол ледяной, отвесный.
Хуан, всемирный инвалид, без речи,
я — Безземельный, я и — Безнебесный.

Уроки дерева, женщина и птица

I

КОЛОННА В ПАМЯТЬ ЛИСТЬЕВ

Какой урок подсказываешь скалам,
о дерево с опавшими листьями?
Ты — высь и корень; сбросив покрывало,
смешалось ты со светом, с небесами.

Пространство ты миллионом уст искало,
твой ворон был соседом с голубями.
Сегодня призрачной ногой ты встало
в краю забвенья, полного червями.

Ты — нищий синевы, король заката;
конец твой так пылает над тобою,
что ясно: ты уходишь без возврата.

Отныне, только в память листьев стоя,
забыв и жизнь, и зелень, и утраты,
ты — лишь колонна мира и покоя.

II

ФОРМЫ ВРЕМЕННОГО НАСЛАЖДЕНИЯ

Нет чище в мире форм, чем плод и птица:
в нем заперт мед, она — цветок полета;
рискуя всем, она по небу мчится —
бокал из перьев ангельской работы.

Они у красоты своей в темнице,
где мрак и лед — за каждым поворотом:
дар сладости плода мгновенье длится,
а горстка перьев падает в болото.

Плод сорванный и птица без движенья,
они калечат песнь и цвет вселенной,
как формы временного наслажденья.

Подвержены одной судьбе мгновенной,
он хочет в аромат уйти от тленья,
она — в полет сияюще-нетленный.

III

Ты — древо света

Из форм людских прекрасней и не снится;
планеты цвет, сияющий итог
крыла и розы, синевы, зарницы,
того, что в каждой вещи скрыт цветок.

Ты — древо света, колокол и птица,
твой нежный голос — вскрывшийся поток;
ты побеждаешь, мирная царица,
мужского одиночества исток.

Пусть древо сожжено, забыта мука,
цветок распался в пепел, высох ключ
и колокол стал только костью звука, —

как музыка, вечна твоя натура,
ты — аромат и эхо в ветре, луч,
луч над разрушенной архитектурой.

IV

Первоначальный язык

Шумящий твой язык тысячеротый,
о лес, росы отец неизмеримый,
и синий твой, река, бегущий мимо,
земные называющий красоты.

Плодов слова из запаха и дыма,
цветочных губ, и век, и взоров взлеты, —
все наполняет на земле пустоты
и в цвете, в форме или в звуке зримо.

Что пишет по земле червяк, белея?
О чем предупреждает птичий крик,
который в беспредельности возник?

В твоей руке от жизни ключ. Смелее!
Живи, уча прилежно словари
простого мира, и потом умри.

Лондонская башня

ТАУЭР

О, долговечность камня и тумана!
О, камень, плотный, как туман в аллее!
Мир призрачный, без правды, без обмана,

твой населяет сон, и он длиннее,
чем жизнь людская... Эти стены встали
навстречу смерти, — пусть она сильнее,

пусть лживо от живых скрывает дали
и разъедает двери и страницы,
доспехи королей, солдат пищали.

Бессмертна башня — авантюра гробница
и мельница эпох, и эр, и славы!
В конечном прахе навсегда сравнится

оружье, диадема, блеск кровавый
завоеваний, знамя поражений,
и пепел городов, и кодекс права.

Не ты одна в плену и в окруженье
веков и туч дивишь нас постоянством
воды — подрывника сооружений.

На языке латинском и нормандском
беседуют во тьме твои аркады
с епископом покойным англиканским,

чья тень идет, минуя все преграды,
в сверканье факелов и шпаг холодных
к реке, ища в забвении отрады.

* * *

Корсар, у Библии проси покоя!
Твое владычество теперь — преданье,
а твой венец — лишь марево пустое.

Хотя не кончено твое сказанье,
но, пленник, смерть явилась за тобою.
Топор тебе дал вечность в обладанье.

О, башня знания в горькой соли, в саже!
Сюда приходят тени обреченных
оплакивать безумье и пропажи.

И тучи сторожат нас, осужденных
на ту же кару пленника и стража,
в земной тюрьме навеки заключенных.

Приметы парка Сутро

Это там, где бродят по аллеям гипсовые призраки.
Там, где море и небо вытянулись по струнке в голубом карауле.
Там, где вечность
меняет золотые слитки времени
на мелочь минут.
Там, где грибы вытягивают шеи, пытаюсь запеть,
но превращаются в уши.
Там, где фонтан проливается маленьким ливнем
на каменное лицо Линкольна —
будто слезы бегут по щекам истории.
Там, где вода вгрызается в гроты, в которых
обитают соннозавры и плавают амфибия-одиночество.
Не надо спрашивать, почему в этой тюрьме
столько птиц и деревьев,
почему бушуют цветы в приступе ангельской ярости,
для чего у розы от собственного аромата закружилась голова,
и зачем голуби слетаются в стаи,
тщетно пытаюсь сложиться в мраморную статую,
и к чему паук,
словно крохотная пятерня, перебирает струны пыли,
натянутые между сухими ветвями.
Под вечер прошествует по аллеям вечерний звон,
и день, уходя, забудет на скамейке одинокого человека —
каменную гитару,
на которой небо настраивает басовые струны крови.

В этой тюрьме разрешается идти на все четыре стороны,
но строго запрещено бросать под ноги шелуху сновидений,
лазить по деревьям,
кричать истошным криком, от которого жмурятся белки,
ловить форель, незримую, как Рыба зодиака,
а также произносить слова, от которых
мгновенной смертью умирают перепелки
и неизлечимо глухие грибы.

Обратный путь

Как географии учебник,
листалась дважды жизнь моя.
В той книге карты, сны и карты.
В Америке проснулся я.

Приснились мне селенья, реки?
Как мог я столько стран узреть?
Не три ль в дороге остановки:
мечтать, проснуться, умереть?

Я был среди статуй, засыпая,
проснулся одиноким я.
Где тени тех, кого любил я,
любил ли кто-нибудь меня?

О, география видений,
магический волшебный стих!
Я помню острова и лица, —
их видел я, мечтал о них?

На достояние вселенной —
на женщину, плоды, простор, —
набросившись, узнали чувства
корсара пьяного восторг.

В одном порту тебя нашел я,
святая юность без белил,
в твоей воде большой, дрожащей
я жажду тела утолил.

А после, как душа пшеницы,
любовь к земле во мне росла,
но из-за каждой новой двери
другая, вечная звала.

От льдов до пальм я видел землю
и города любил за то,
что протирал господь там стекла
и смерти не хотел никто.

Быка сухую землю видел,
где в синеве садится диск,
и край, где сосны поднимают
зеленый к свету обелиск.

Во сне ль я видел чью-то руку
и чей-то облик на стене,
дорогу яблонь и голубок, —
все это видел я во сне?

А бухты, как ломти арбуза, —
он весь из жидкого стекла, —
и острова, как будто зерна, —
все только сон, все только мгла?

Смертельный пепел — пыль вот эта,
приставшая к ногам давно?
И это годы, а не порты,
где якорь бросил я на дно?

Лишь одиночество запомнил
я в словарях всех языков,
и стал я — доктор сновидений...
В Америке не знаю снов.

Но в горле вновь пылает жажда, —
о, жажда жить и умереть! —
и я колени преклоняю
там, где маис спешит созреть.

Земля, ты — солнца достоянье,
земля плодов, земля могил...
Из мира я пришел, — о, сон мой! —
и голос-карту я сложил.

Преходящие формы

Это не колокол, медный цветок,
источающий капля за каплей
аромат текучего времени;
это не пылающий шмель,
возвестивший пришествие лета
своей голубой ускользящей молнией;
это не ветка, прячущая в зеленой ладони гнездо,
кошелек с птицами,
крылатую сумму в миллион трелей;
это не студёный дар ночи —
ночи, которая после пиршества ливня
оставляет на травах
стеклянные крошки.

Это не строгая архитектура колоса,
золоченой башни, упершейся в ветер,
в которой зреют маленькие звезды.
Это не налившаяся свинцовой тяжестью пчела —
пуля из меда и золота,
которой выстрелило лето.
И это не голубь, который
воркует в простынной своей белизне,
разглашая тайны спален;
и не дрожащий рой звезд —
роса на ночной
паутине неба;
и вовсе не дерево, зеленый мир,
зеленое небо со звездами птиц
на стволе — черной молнии,
пролившейся в небо.

Это не гнездо — это пчела.
Это не пчела — это ливень,
готовый в любую минуту
пролиться слезами.
Это не ливень — это ночь или, вернее, звезда,
а может быть, это изгнанницы-птицы,
покоренные аборигены неба,
или же колос, или паук, или колокол, —
но нет, ничуть не бывало: это — чайка,
слеplенная из пепла и серебра,
которая чертит на небе мое сокровенное
и потом растворяется в темноте.
Быстролетная любовь, скоротечные формы!
Горькая доля вещей, теряющих цвет
от первого прикосновенья
и умирающих, едва мы успеем их разглядеть
или вызвать из памяти.

Ключ от огня

Земля экватора, отечество колибри,
молочного и хлебного деревьев,
кузнечиков, цикад твоих я слышу снова:
работают в траве
их ржавые скрипучие орудья производства.
Я человек из края попугаев:
Колумб меня на острове увидел
и на корабль свой взял с сокровищами, и плодами,
и с птицами индейскими в Европу.
Однажды по совету утренней зари
я разбудил колокола столетья девятнадцатого;
с Боливаром и с нищими героями его
пошел по влажным странам там, где лето вечно,
сквозь бурю снежную и серую по кордильере,
где молния в серебряной пещере угнездилась,
и далее на юг,
до самого экватора в огне,
до тех Столиц из облаков и камня,
что рядом с небом и росой.

Я основал республику для птиц
над заржавевшими в забвенье
доспехами завоевателей под деревом банановым.
В траве остался только шлем,
в нем насекомые живут, как в черепе пустом,
который вечно гложут угрызенья.
Я приближаюсь к тайной двери мира,
ключ от огня в руках,
он вырван у вулкана грозного, как гроб.

Я на тебя, как на отца, смотрю, банановое дерево.
Ты — фабрика высокая зеленая, ты — дистиллятор тропиков;
система свежих труб твоих не устает,
фильтруя время, превращать
в большие листья — ночи, дни — в бананы
иль в золотые слитки, в сладкие цилиндры,
они размешаны с цветами и дождем,
они в своей крышке золотой, пахучей
похожи на пчелу, на шкуру тигра.

Мне улыбается маис и говорит сквозь зубы
на языке воды, на языке росы.
Маис учительствует, учит птиц
считать на счетах каждого початка.
Я говорю с маисом, с попугаем,
известна им история потопа;
потоп припоминая, хмурят реки лоб.
Река бежит вперед, всегда вперед
и одевает каждую скалу овечьей завивающейся шерстью.

Бежит река до берегов морских, где черепахи,
не забывая о своем происхождении горном и небесном,
сквозь все растительное царство, где дрожит и бьется,
как барабан, глухое сердце сельвы.
О, море нежное, о, Амазонка и твоя семья речная!
Пускаю оперенную стрелу, как птицу смерти,
в твою высокую звезду, —
потом в воде твоей ищу свою сияющую жертву.

Земля моя, где обитают племена смиренья
и гордости, луны и солнца,
вулкана, озера, луча и злаков!
Хранишь ты память об огне первичном
в любом плоде, в пере, и в насекомом,
и в кактусе, — показывает он цветы и раны, —
в быке, сияющем от света светляков в ночи,
в бессонных минералах, пьющих свет,
и в красном рысаке, что скачет без удил.
А засуха лицо и стену морщит,
и по всему пшеничному простору
пожар, как петушиный бой, а петухи — из золота и крови.

Владею от огня ключом.
Огонь — природный мирный ключ,
замки невидимые открывает он,
тот ключ любви и мака,
первоначального рубина и граната,
космического перца, розы.
Ключ нежный, солнечный, он греет руку,
протянутую к людям и границ не знающую,
к тому, кто шпагою владеет, кто дробит булыжник,
кто взвешивает деньги иль цветы,
кто скатерть накрывает к моему приходу,
к охотнику на тучи и учителю голубок.

Земля экватора и предков,
плодоносящее кладбище,
приют семян и трупов!
На высохшие мумии индейцев в глиняных сосудах,
на конкистадоров в их каменных могилах,
столетья на своей дороге вечной бороздя,
и лишь под пень музыкальных насекомых
бросает то же небо взор забвенья.
Другой Колумб свой якорь в тучах поднимает,
небесный порох дальнего светила
взрывается немим огнем коротким,
а крики беспокойных птиц —
вопросы, обращенные к закату.

Комментарии

Автобиография, предназначенная для птиц

Кордильера — горная цепь.

Круговорот

Фивы. — Имеются в виду Фивы «Стовратные» — столица Древнего Египта в эпоху Среднего и Нового царств.

Гимн летающим крепостям

Гимн летающим крепостям. — Это стихотворение написано в 1944 году.

Нёйкёльн — один из районов Берлина, расположенный в юго-западной части города.

Моя родина

Чиримойя, капули — плодоносящие тропические растения; *агвиат* (агуакате) — дикорастущий томат.

Островное

Гуайява — тропическое дерево с кисло-сладкими плодами.

Ключ от огня

Боливар Симон (1783—1830) — выдающийся руководитель борьбы за независимость испанских колоний в Латинской Америке.

Содержание

Автобиография, предназначенная для птиц. <i>Перевод О. Савича</i>	159
Повседневная дружба. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	161
Призвание зеркала. <i>Перевод О. Савича</i>	163
Привычка. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	164
Гордость газированной воды. <i>Перевод О. Савича</i>	166
Фруктовая диета. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	167
Потаенная биография сына. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	169
Круговорот. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	170

Гость. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	172
Жизненная алхимия. <i>Перевод О. Савича</i>	173
Собственность. <i>Перевод О. Савича</i>	175
Иностранец. <i>Перевод О. Савича</i>	177
Путешествие. <i>Перевод О. Савича</i>	179
Эта прекрасная размеренная жизнь. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	181
Земное жилище. <i>Перевод О. Савича</i>	183
Безымянный остров. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	184
Северо-восточный ветер. <i>Перевод О. Савича</i>	186
Одиночество и чайка. <i>Перевод О. Савича</i>	188
Прах — труп времени. <i>Перевод О. Савича</i>	190
Ничто не наше навеки. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	192
Населенное одиночество. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	194
Октябрь. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	196
Призрак в гостях. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	198
Опись всего моего достояния. <i>Перевод О. Савича</i>	200
Гимн летающим крепостям. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	202
Моя родина. <i>Перевод О. Савича</i>	207
Преступление и смерть ветра. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	209
Жажда статуи. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	211
Островное. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	212
Движения природы. <i>Перевод О. Савича</i>	214
Небесное снабжение. <i>Перевод О. Савича</i>	215
Ночь или ложь. <i>Перевод О. Савича</i>	217
Времена года. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	218
Нечетные дни. <i>Перевод О. Савича</i>	219
Дань ночи. <i>Перевод О. Савича</i>	220
Бесконечное странствие. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	222
Три строфы, посвященные пыли. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	224
Здесь покоится пена. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	225
Хуан Безнебесный. <i>Перевод О. Савича</i>	227
Уроки дерева, женщина и птица. <i>Перевод О. Савича</i>	
I. Колонна в память листьев	229
II. Формы временного наслажденья	230
III. Ты — древо света	230
IV. Первоначальный язык	231
Лондонская башня. <i>Перевод О. Савича</i>	
Тауэр	232
«Корсар, у Библии проси покоя!..»	233
Приметы парка Сутро. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	234
Обратный путь. <i>Перевод О. Савича</i>	236
Преходящие формы. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	239
Ключ от огня. <i>Перевод О. Савича</i>	241